

ВРЕМЯ ЖЕНЩИН

(инсценировка М.Глуховская)

Действующие лица:

Сюзанна Беспалова – питерская художница

Гриша - художник, её друг

Антонина Беспалова – её мать

Евдокия

Ариадна

Гликерия - её бабушки, соседки Антонины

Григорий - её отец

Николай Ручейников – её отчим

Соломон Захарович - врач, знакомый бабушек

Зоя Ивановна - председатель месткома

Сытина

Бурагова

Казанкина - члены женсовета

Зинаида - вторая жена отчима

Федосьевна - сотрудница вневедомственной охраны на заводе

Докторша - врач в заводской поликлинике

Пролог

Сюзанна: - Меня всегда ругали. За нарушенную перспективу, за то, что не добиваюсь портретного сходства, за неясность замысла. Я пыталась объяснить, почему канон не имеет отношения к моей жизни – мне трудно следовать традициям, в которых нет ничего личного, своей памяти. Я старалась изучать традиции, но они казались мне мертвыми, пока я не увидела одну египетскую картинку. Женщина на берегу ручья. Египетские художники часто изображали всесильных фараонов. Их специально рисовали огромными, чтобы у зрителя складывалось впечатление, будто они распоряжаются своими маленькими подданными: их жизнью и смертью. А тут просто женщина на коленях. Ползет по берегу ручья. Сначала я подумала, что она тоже жена фараона. А потом нашла перевод. Душа усопшей пьет воду в потустороннем мире. Я все время о ней думала, когда готовила к выставке свою первую работу. Нарочно сделала её черно-белой. Лицо и руки в боковом ракурсе, а глаза смотрят вперед. Как бы живут сами по себе, независимо от тела. Грише моя работа понравилась. Он говорил, что я нашла точный образ...

Ленинград, зима 1974. Комната студентов Мухинского училища Сюзанны и Гриши. Сюзанна готовит к выставке свою первую работу. Гриша собирает вещи. По радио зачитывают статью из газеты «Правда»...

Радио: - ...Автор этого сочинения буквально задыхается от патологической ненависти к стране, где он родился и вырос, к социалистическому строю, к советским людям. Книгу эту, замаскированную под документальность, можно было бы назвать плодом больного воображения, если бы она не была начинена циничной фальсификацией, состряпанной в угоду силам империалистической реакции. Если чем и может поразить читателя названное сочинение, так это, пожалуй, предельной степенью саморазоблачения человека, который смотрит на новое, строящееся общество глазами тех, кто расстреливал и вешал коммунистов, революционных рабочих и крестьян, отстаивая черное дело контрреволюции. Такова логика морального падения, такова мера духовной нищеты этого внутреннего эмигранта, лишенного всякой связи с реальной жизнью нашего общества...

Гриша: - Москвичей, которых давили бульдозером, собираются посадить. Собственными ушами слышал. Не сразу, конечно, а тихой сапой. Господи, как же мне осточертели старые большевички и старые большевички! Когда же эта чертовщина кончится?

Сюзанна: - Обязательно кончится.

Гриша: - Нет, СюзОн. Оно никогда не кончится...

Сюзанна: - Кончится, Гриша, кончится. Правда, не скоро.

Гриша: - Откуда тебе знать. Ты ж политикой не интересуешься.

Сюзанна: - Просто тебе повезло с родителями, они не боялись рассказывать. А мои бабушки молчали. Даже друг с другом ни о чем таком не разговаривали: только о домашних делах.

Гриша: - Здесь нельзя жить так, чтобы не интересоваться политикой. Иначе она тобой заинтересуется. Поехали со мной, СюзОн. Ничего у тебя здесь путного не получится. Только талант зачахнет. Жизнь, она не по смыслу устанавливается, а по уровню людских душ. Поехали?

Сюзанна: - Мне очень хотелось уехать с Гришей, но я не решилась. Мне казалось, если я уеду, то никогда не узнаю правды. Почему у меня не было отца? Как случилось, что они расстались и мама вышла замуж за отчима? Ведь здесь же нет никакой политики, но бабушки все равно молчали. Настоящий художник должен помнить самое раннее детство, а я боялась, боялась не стать настоящим художником. Я старалась вспомнить, но память упиралась в глухую стену. В детстве я не умела разговаривать. Мама водила по врачам, показывала разным специалистам, но все без толку: причины так и не нашли. Лет до семи я молчала, а потом заговорила, хоть и сама этого не помню. Бабушки тоже не запомнили, даже самых первых слов. Говорят, что я всегда все понимала и рисовала картинки. Так разговаривала. Раньше они лежали в коробке. Жаль, что не сохранились. Тогда бы я все вспомнила. А так не помню. Даже мамино лицо. Была фотография, маленькая, на паспорт, а потом и её потеряли. Жена отчима выбросила. Как и мои картинки.

Плита черная, огромная. Спереди дверка железная – поленья пихать. На дверке засов кованый. Поленьями набьют – на засов заложат. Огонь в печи кряхтит, бушует. В щелку заглянешь – языки завиваются, так жаром и пышут. Ближко-то страшно: Баба-яга подкрадет, живьем в печь пихнет... Прокалят, достают щипцами. Гвоздья кривые, красные: остынут, в банки мучные запихивают, чтобы мука не погнила.

Часть первая

Картинка первая. «Мука»
Ленинград, декабрь, 1961 год

Антонина: – Сил моих больше нету... Все помойки облазала: только две доски и нашла. Вчера надо было – сегодня-то все хватились, растаскали... И гвозди кривые, ржавые – еле выдрала. Прокалить надо. Прошлого году поленилась, пропала мука-то...

Евдокия: – Вон, глядите, с войны уж сколько прошло – а все муки не хватает.

Гликерия: – Весной-то прошлой, помните, у многих погнила. Жучок в ней завелся. Как идешь мимо, пакеты мучные валяются. Вся помойка засыпана. Белым-бело... Хранить, видно, не умеют. Наберут, наберут, а гвоздями и не проложат. Так-то бы и три года пролежала.

Евдокия: – До революции ихней, гвоздями, небось, не прокладывали. А всем хватало муки-то...

Ариадна: – До революции, народ тоже страдал. Не так, конечно... По-своему. Но все равно многие мучились.

Евдокия: – Мучились они! От безделья они мучились, вот и все ихнее мученье. Кто работал, тот и не мучился.

Гликерия: – Полно, жизнь ведь прошла. Чего уж теперь?..

Евдокия: - Так мне-то, – утихает, – ничего. Мне на том свете муки? не надо. Софью вот только жалко... Ей еще жить.

Ариадна: – А я вот иногда лежу, думаю: если б склады не разбомбили, может быть, и хватило бы муки?... По радио говорили: огромный запас сделан...

Антонина: - Главное, муку взяли. Пирогов напеку. С картошкой, или может с капустой. И вина бы надо на праздник. Встретим, не хуже людей. Билетики в цеху раздавали всем детным. Так я взяла. Сбоку талончик на подарок. Дед Мороз конфетки выдает, сласти всякие, вафли. Мороз Морозом, а завод, конечно, доплачивает. В цеху говорили, хороший. И шоколадка вложена... Мы-то не покупаем. Сюзанночка и понятия такого не имеет...

Евдокия: - Нет. За подарком сама сходишь. А она не пойдет. Ей в другой театр. В Мариинский. И билета не надо. Так пропустят.

Гликерия: - Там у нас товарка знакомая. Вместе в церковь ходим. И проведет, и посадит, и присмотрит. Тоже одинокая.

Ариадна: - Костюмчик ей шерстяной китайский купи. Кофточка на пуговицах, рейтузики, шапка. В Гостином дают. Все дети носят.

Антонина: - Дорогой поди...

Ариадна: - Рублей шесть. Отложи уж. И ленты в косы. Шелковые. Под цвет.

Антонина: - Может, лучше капроновых?

Ариадна: - Нельзя. От капронов концы секутся.

Картинка вторая «Нитки»
Ленинград, декабрь 1961

Сюзанна: - Голоса сухие слабые, бабушка Гликерия кофту вяжет. Распускать весело, нитка бежит, вьется, выскакивает из петель. Гликерия за нитку дергает, Ариадна наматывает. Нитка гладкая, только рваная очень. Свяжут, вывернут, вся изнанка в узелках....

Ариадна: – Сколько лет прошло... Так ни разу не появился. Видно, непорядочный человек.

Гликерия: - А может, помер уже?..

Евдокия: - Помрет он, жди-дожидайся. Такие-то кобелины долго живут.

Гликерия: – Да ладно тебе, а вдруг с того света любитесь, какая дочь у него выросла.

Евдокия: – Любуется он... Чем так-то любоваться, помог бы девке: упросил – пусть бы заговорила.

Гликерия: - Ох, ладно, молчит пока. А заговорит – про отца ведь спросит.

Евдокия: - Пусть у матери своей спрашивает.

Ариадна: – Сами не знаете, что говорите. Дикость какая-то.

Евдокия: – Одичаешь тут. Счастье, что ты у нас культурная... Пропали б без твоего-то ума.

Гликерия: – Антонина говорит – пропал он... Пошел и исчез. Вот я и думаю... Чего он вдруг исчез? Мало ли что?..

Евдокия: – Глупости мелешь. Это ж когда было? В те-то годы, наоборот, выпускали. Кто выжил, многие и вернулись. Не то что... Вчера, на Офицерской, гляжу, опять копают. Яму огромную вырыли, пар из нее – клубами. Сбоку мостки, по краю треноги выставили. Софью веду, батюшки, нечистая сила: из-под земли-то голоса. Кто ж это там – в кипятке? Глянула: мужики. Двое, морды грязные, под трубой ковыряются. Так и смеются еще: «Чего, бабка, напугалась?» Напугаешься тут. Бесы, прости Господи! Роют, роют. Скоро насквозь расковыряют. Не сидится им на земле.

Гликерия: – На Офицерской-то – где?

Евдокия: – Да тут, за углом. Как она у них? Декабристов.

Гликерия: – Декабристы-то эти когда прославились? В революцию или в войну?

Ариадна: – Бог с тобой. Это же еще в прошлом веке. Декабрьское восстание восемьсот двадцать пятого года. Против крепостного права.

Гликерия: – То-то я не упомяну. Это матери моей волю дали. Наши-то все из крепостных. Да мать-то тоже не больно радовалась. С господами, говорит, лучше. Те выгадали, кто в город ходил, на заработки. Так они и раньше свободно. В прежние времена везде платили. И барину хватало отдать, и семье.

Евдокия: – Вот и перед войной, тоже все рыли. Иду как-то, думаю – и чего роют? Ох, ведь дороются. Невестке сказала. А та губы дует: трубы, говорит, прокладывают. При царе, говорит, не заботились, чтобы во всех домах – вода.

Гликерия: – А мать рассказывала, барин наш хороший был, добрый. И замуж силком не выдавал. Отец-то кузнецом у меня. Вот они с матерью приходят. А барин – ничего... Благословил их. Молодые долго еще ходили – благословения спрашивали. Уж и воля была, а все равно...

Евдокия: – Чего это, говорю, не заботились? У нас с прежних времен кран. И вода чистая, ничем не воняла. А мы, невестка мечтает, везде трубы поменяем. И поезда под землей пустим. Смеется...

Гликерия: – Раньше, до войны, часто смеялись...

Евдокия: - – Уж это они мастера. То смеются, то землю роют. Думают, другим вырыли. А потом, глядь, выходит – себе...

Сюзанна: За окном тихо. На стеклах цветы заплетаются. Шкаф зеркальный в углу. Глаза закрыла – страшно. Будто крадется кто-то, грозит утащить...Какой отец? Кого выпускали? К кому вернулся? Это же про ту девочку. Которая в шкафу живет. Створку распахнешь – является: стоит, смотрит. У нас и платья одинаковые – бабушка Гликерия шьет. И комната на нашу похожа: стол, занавеска, стены желтые. Отец ее по лесенке возвращается, из-за двери смотрит. Полнобуется на нее и снова уходит. А мама ее не спит и не готовит. Только волосы перед зеркалом причесывает. Причешется и тоже уйдет...

Картинка третья. «Отец»
Ленинград, декабрь, 1956

Антонина: - Только имя и знаю. Ни адреса, ни фамилии. Сам красивый был, статный. Выражался чудно, по-городскому. Вроде и вежливый, а все равно... Не поймешь его. Ноги длинные, как у журавля. И лицо какое-то мятое. Видать всю ночь гуляли. А перегаром не несет. Наши мужики как с вечера выпьют, так прямо до обеда перегар.

Григорий: - Вы, девушка, давно ждете? Это вы к Деду Морозу собрались? Мешок у вас вместительный. Для подарков? Удивляюсь я вам девушка. Вы что же это в Америке учились?

Антонина: - Почему в Америке? В деревне. Малые Половцы.

Григорий: - В советской школе учились, а главного не помните. Куда коллектив, туда и я. В сложившихся обстоятельствах, предлагаю взять такси.

Антонина: - В гости к себе пригласил. Квартира большая, просторная. Стол письменный, книжки по стенкам расставлены. Над диваном мужик бородатый. Кофта на нем вязаная. Висит в раме. Может, из предков. Под бородой разве поймешь. Кофе сварил. Чашки тонкие, белые, прямо пить страшно. Не дай бог, ручка отломится. Глотнула, прямо сморщилась...

Григорий: - Сахар клади.

Антонина: - А где все?

Григорий: - А все на даче. В смысле, предки.

Антонина: - Как же это, на даче? Зима ведь... А соседи?

Григорий: - Увы, этого добра не держим. Живем, как при коммунизме.

Антонина: - Коммунизм – это хорошо. Взглянуть бы хоть одним глазком. На политинформации как объясняли: «Каждый сколько он хочет работает – хоть смену, хоть полсмены. Отработают и в магазины идут. А там – благодать: всего полно. И денег не надо. Деньги тоже отменят – бери сколько пожелаешь. А Надька Казанкина, из тарного, возьми, да и спроси: «Как это – сколько пожелаешь? Что ж это будет-то? В один день расхватают. Вон я, к примеру, десять платьев зараз возьму, а еще и туфли... Да не просто так, а, например, чешские. Или венгерские еще. А чего? – девкам подмигивает. – Не имею права?» – «Ты-то, – лектор на нее разозлился, – к тому времени сознательная станешь». – «Созна-ательная... – смеется. – Не сознательная, а старая – через двадцать-то лет. Мне ж тогда сорок пять стукнет – зачем мне туфли? Тогда мне и бурки сгодятся. А молодые? Или как? – На девок оглядывается. – Все, что ли, старые будут, при коммунизме?» А в рамке-то у тебя кто ж?

Григорий: - Да так, есть тут один. Сахар, говорю, клади. Черный кофе на любителя. Распробовать надо. Не горюй, привыкнешь.

Антонина: - Сам-то, видать, не больно привык. Глоточек отпил – отставил. И вина не пили, а я как пьяная. Голос его слушаю, Не знаю, как и случилось. Видно, затмение на меня нашло. На неделе в кино позвал. «Карнавальная ночь». Комедия. Нашим всем очень понравилось. Из кино выходим, я-то радуюсь, а он – туча тучей.

Антонина: - Неужели не понравилось? А мне так прямо очень. Хорошая у них жизнь, как в сказке. Вот бы и нам так.

Григорий: - Кончились сказки. Ко мне нельзя. Предки с дачи вернулись. Наслушались радио. Про Венгрию слыхала?

Антонина: - Про какую Венгрию? По телевизору что ли? Так знаю. На политинформации объясняли: враждебные элементы... против нас чего-то надумали. И чего им там не живется?

Картинка четвертая «Крестины»
Ленинград, декабрь, 1959

Антонина: - Рукой махнул и пошел. А я стою. Так и стояла пока не скрылся. Столько лет прошло. Лицо забывать стала. Говорят, в дочери проявится, поневоле вспомнишь. Лицом, вроде, и не похожа, а повадку переняла. Отродясь отца не видывала, а будто все помнит. А если заговорит? Неужто тоже, как он. Опять ведь не пойму половину. Да пусть хоть как, хоть совсем на французском, лишь бы заговорила.

Евдокия: - На все божья воля. Придет время, заговорит. На работе-то молчи. Спросят, отвечай: хорошо все. У людей языки длинные, дурные. Все беды от языков. В глаза посочувствуют, а меж собой, кто их знает. Ославят. Оговорят. Слава богу, в Никольском звонарь знакомый. Сам глухой, а все понимает. Согласился переговорить с батюшкой, позвать на дом. Имечко у ребенка басурманское, прости господи. В прежние времена так срамных девок кликали, чтобы заступниц святых не позорить. А теперь мать родная выбрала кличку собачью. Отец Иннокентий сказал: ищите сообразно метрике. Хоть по смыслу, хоть по заглавной букве.

Гликерия: - Может, Серафимой?

Ариадна: - Лучше Софьей. В честь Софии. Рубашечка крестильная у Евдокии Тимофеевны нашлась. Материя тонкая, невесомая. Ангельское облачение.

Евдокия: - От Василия, сына старшего. Его уж и кости истлели, а рубашечка жива. Внуку не пригодилась. Сын с невесткой не дали: у нас, дескать, своя вера. А тайком побоялась. Жизни их навредить. Новую жизнь, смеются, строим, а вы, мамаша, все норовите. Тащите в царское прошлое. Нету пути обратного, а религия ваша – опий. И чего выдумывают? Опий в аптеке от боли выписывают. И невестка туда же. Вы, мамаша, вокруг себя оглянитесь. А мне, говорю, поздно оглядываться. Вы и оглядывайтесь. Вам этой жизнью жить. Не успели оглянуться – пришли за ними. Так и сгинули – в своем коммунизме. Спасибо, хоть внука не забрали. Та бабка взяла. Она и повезла в эвакуацию. Разбомбили их под Лугой. Только нельзя мне в крестные. Как погляжу на рубашечку, душа чернеет. Давай уж ты, Ариадна. У тебя все – слава богу: муж – на Первой, сын – на Второй, внуки с невесткой в блокаду померли, все по-людски.

Ариадна: - Где ж, по-людски, если во рвах лежат. Пусть уж Гликерия: она не рожала. Муж невенчанный от революции бежал, кто его знает, может и теперь живой...

Гликерия: - Ладно, решили. Ариадне виднее. Куда нам за ней. Образованная. Кружева ветхие. Пока стирали побелели вроде, а высохли, все одно – желтизна. Прокипятить бы, да боязно. Жизнь прошла, ну, как расползется в руках.

Сюзанна: - Шары цветные, рыбки, звери разные из картона. Еще птички стеклянные – голуби. А вместо лапок у них крючки. Это чтоб за елку цепляться. У церкви тоже голуби: только другие, важные. Ходят, с боку на бок переваливаются. Их крупной кормят. Пшена принесут, насыпят. Вот они слетаются и клюют. Там, у церкви, старик страшный. Ездит на санках. А санки у него сломанные, совсем без спинки. Сам короткий, ноги пустые, вместо рук крючки воткнутые, из железа. Он их из проволоки согнул – крючками в землю упирается, сам себя толкает. Бабушка Гликерия сердилась: «Чего смотришь? Отвернись. Это – инвалид. Таким с войны пришел. Раньше много их было. Один теперь остался: другие-то поумирали, должно. Отмучились, голуби. Отдыхают на том свете».

А... Догадалась... Это они здесь страшные, а там – уже голуби. На том свете елку им поставили. Вот они на ней и сидят. Не мучаются, крючками за ветки схватились. Голубям рук-то не надо. Теперь у них клювы выросли: конфеты из корзинок клюют.

Картинка пятая «Местком»
Ленинград, декабрь 1961

Антонина: - По метрикам-то Сюзанной значилась. От имени много зависит. Взять хоть моё: Тонька, да Тонька. Я тогда ещё решила, если мальчик – в деда назову. Мужикам все одно. А девочка – пусть с детства красивое имя слышит. Может, моей судьбы не повторит. По закону ведь как: отчество любое пиши... Зоя Ивановна тоже советовала: «По деду записывай, по своему отцу»... не знаю, думаю, нехорошо как-то не по-людски. Пусть уж по правде будет. Так и записала...

Зоя Ивановна: – Садись, Антонина. Что ж ты с дитем своим делаешь? Девке шесть скоро, через два года – в школу. Ладно, болела, пока маленькая. Так теперь вроде и выровнялась, а все с бабкой сидит. Нормальные детки в садик

ходят. Вон внуки у меня: и рисуют, и песни поют, и стишки рассказывают. Мать-то у тебя неграмотная – как к школе подготовит?

Антонина: – Да нет, ничего: Сюзанночка и буквы все знает. Читает помаленьку.

Зоя Ивановна: – То-то, что помаленьку. А в садике учителя специальные, спектакли ставят. Раз в неделю музыкальное занятие. Разве сравнить? Недавно и в театр кукольный водили, на Седьмое ноября – под праздник. А как они к празднику готовились! Песенки, речевки разучивали. И питание в садике диетическое, разнообразное. Ты ж пойми: девочка твоя – не деревенская. Ей в городе жить.

Антонина: – Спасибо, подумаю.

Зоя Ивановна: – Ты, скорее думай. Время уйдет – упустишь. Проворонишь, в отца своего вырастет, засранца.

Антонина: - Чего уж, Зоя Ивановна, пенять теперь. Отец отцом, а я и сама виновата. Мать сколько раз остерегала. Разве учила с первым встречным гулять? Мне бы, Зоя Ивановна, костюмчик детский, шерстяной, китайский... Съездила в Гостиный, спросила у них, были, говорят, да все разобрали. На заказы с производства. Вот я и думаю, может, и наш местком заказал?

Зоя Ивановна: – Ты, Антонина, вроде и не мать, а мачеха. Тебе дело говорят, а ты – про всякую ерунду. Вот вырастет девка старорежимная, локти станешь кусать, да уж поздно. А костюмчик – девять восемьдесят, если есть на складе. Мы ж их к ноябрьским заказывали – я внукам брала...

Сытина: – Ну, как живешь-поживаешь? Эти-то не сдохли еще, старые ведьмы? С мамашей твоей ничего, ладят?

Антонина: – Да. Хорошо живем.

Сытина: – Ты смотри, потачек им не давай. Я вот жила, не давала. И не гляди, что старые – еще и нас переживут. Ох, попили моей кровушки. Володька маленький был. Чуть что – являются. «Уймите, – мол, – вашего мальчика, чтобы он в прихожей не кричал». – «Ага, – говорю, – может, ему и рот заклеить?» А Евдокия эта, злыдня: «Вот, – шипит, – и заклейте». – «Может, – говорю, – нам и всем рты-то позаклеивать? Руками объясняться, вроде немых? Лучше б, – говорю, – за своими детьми глядела, чем чужих гонять». Гляжу – молчит. А чего ей сказать? Ей сказать нечего. Я-то все про нее знаю, соседка снизу рассказывала: старший у ней – еще до войны

расстреляли, а младший и того хуже – тюремщиком ведь служил. Ох, замуж бы тебе, Антонина... Второго родишь, завод квартиру предоставит. Иначе так и не выберешься – из ихнего болота. Ишь, суки старорежимные!.. Мы когда еще получили... Въехали. Сколько лет прошло, а поверишь, до сих пор снится. Проснусь, прямо мокрая вся. А потом лежу и думаю: нету же их больше. Одни теперь живем. А внутри-то щемит, щемит: господи, думаю, вот же он – рай...

Антонина: - Все-таки сучка эта Сытина. Живет как у Христа за пазухой, а все туда же – тюремщик... Лишь бы сына чужого оговорить. И не боится. Свои ж сыны подрастают. А если их кто оговорит? Дорого встал костюмчик-то. Думала рублей шесть, а тут все десять. Снова сверхурочные придется.

Федосьева: - Ты уж прости, Антонина, если не так скажу. Женщина ты молодая. Может, и замуж выйдешь. Это ведь как случай подвернется. А семья любому нужна.

Антонина: - Да кому я сдалась? Немолодая, да с эдаким привеском?

Федосьева: - Не скажи. Вон, Николай с гальваники. Я уж давно замечаю, приглядывается он к тебе. А чего? Мужик хороший, скромный. Не курит, не пьет почти. Вот и я говорю, ты хоть голову приberi, оденься как следует, а то ходишь чумичка чумичкой. Вдруг и сладится у вас.

Картинка шестая «Николай»
Ленинград, декабрь 1961

Антонина: - Что ж это за Николай такой? Вроде всех перебрала с гальваники. Ан, нет, не вспомню. Молоко в перерыв выдавали. Бутылку взяла и – в раздевалку. Как раз мимо гальваники. Вспомнила его. Невзрачный такой. Ну и ладно, думаю, заглянула, и заглянула. За погляд денег не берут. Молоко в сумку спрятала. Сегодня можно. Федосьева на проходной. Она по сумкам не шарит. Выносить-то нельзя. Сами, велят, пейте.

Николай: - Как дела?

Антонина: - Дела мои все при мне, сами не переделаются.

Николай: - А чего же неприветная такая, раз дела твои при тебе?

Антонина: - Да устала чего-то. После смены, так прямо сил никаких.

Николай: - Так, значит, отдохнуть пора. В кино-то любишь ходить?

Антонина: - В кино я уж находилась. На всю жизнь.

Николай: - Зря ты, Антонина. Я к тебе не как-нибудь, по-хорошему. Очередь моя подошла на телевизор. Весной ещё встал. Думал, вдруг комнату дадут. Надеялся, ещё к ноябрьским. А они: «Подождать надо, семейным нужнее»... Может, ты возьмешь? Я заплачу, а ты отдашь постепенно. Куда мне с ним в общежитие. И доставить помогу, и провод кину. Я бы так, без бутылки...

Антонина: - Знаем мы ваши «таки»...Подумаю. Ты прощай покуда. Мне ещё в Гостиный. На троллейбус села, а в окошко гляжу. Рукой мне машет. Не то, чтобы, думаю, невзрачный. Улыбнется – вроде и ничего себе. У Гостиного почудилось, *его* встретила. Сердце прямо ахнуло. Удивилась только: важный стал. В шапке пыжиковой. Обогнала, глянула потихоньку. Гляжу – нет. И чего это я... Другой он. А какой другой? Так-то и не скажешь. Нет у меня таких слов.

Картинка седьмая «Костюмчик»
Ленинград, декабрь 1961

Евдокия: - Да, хорош.

Антонина: Там ещё красный был, да я этот выбрала. Шерстка мягонькая, как теленочек.

Евдокия: - Вот тебе и китайцы. Раньше-то и не слышно про них было, все японцы, да японцы. А они гляди-ка чему научились...

Ариадна: - Как это не слышно? Китайцы народ древний. Почти пятьдесят веков.

Евдокия: - Вот-вот, ещё пятьдесят веков пройдет, пока мы чему-нибудь научимся.

Гликерия: - Да нешто не умели? Все мы умели. И вышивки золотые, и кружева, блузки плоеные, шляпки...Графиня моя, покойница, нашу работу предпочитала.

Антонина: - Вы, Евдокия Тимофеевна, молоко-то перелейте.

Евдокия: - Возня с этим бутылками. И страху натерпишься, пока через проходную. Взяла бы хоть, что ли, грелку. Пробкой закрутила, пихнула под

платье – и иди свободно. В блокаду вон, рассказывали, одна на хлебзаводе работала, так теста под груди налепит и идет. Охрана по бокам прохлопает, а под грудь не догадывались. Обоих детей спасла.

Антонина: – Так, резиной завоняется, разве станете пить?

Евдокия: – Ничего, не बारे. Прокипятим, и выдохнется. На кашу-то и сгодится, а ребенку магазинного купишь.

Антонина: - У нас в цеху в очередь некоторые встали. На телевизор. Триста сорок восемь рублей.

Ариадна : - Старыми?

Антонина: - Да какое, новыми.

Гликерия: - Батюшки! По-старому три с половиной тыщи...

Антонина: - Телевизор-то тоже новый, без линзы, показывает, как кино. Может, и нам встать? Передачи бывают хорошие: и взрослым, и для детей. Пока ждем, помаленьку и накопим, если каждый месяц откладывать рублей по тридцати. К Евдокии Тимофеевне поставим: вроде свой красный уголок. Вечером сядете, будете новости глядеть: где да что в мире происходит. В Америке там или... в Венгрии. И Сюзанночка посмотрит – ей же в школу идти. Сюзанночка радио любит, а телевизор ещё лучше....

Евдокия: - Газеты, радио, все им мало. Теперь телевизор выдумали. Скоро в яйцо куриное заберутся.

Ариадна: - А разве плохо передачу хорошую посмотреть?

Евдокия: - Ты, гляжу, за долгую жизнь не насмотрелась. А мне уж хватит. Сын мой тоже. Газеты все читал. Надо, говорит, мамаша, быть в курсе. Ага, думаю. Мне ихний курс известный, читай, не читай, все одно не минует...

Ариадна: - Тебя послушать, до сих пор бы жили в каменном веке. Так лучину бы и жгли.

Евдокия: - Ну и жгли бы. Кому она мешала, лучина-то? Думайте теперь с этим телевизором.

Гликерия: - Да дорого больно. Прямо и не знаешь.

Ариадна: - Другие ведь как-то покупают?

Антонина: - В телевизоре дверца, стеклянная. Называется экран. В электричество включают, глядь, а там огонек занимается, как звездочка, а потом вдруг вспыхнет, и картинки разные бегут: чудеса... Показывают, рассказывают: где, да что, да как людям живется. Другие-то смотрят, а сами ума набираются. Вот и она насмотрится, а потом и в школу пойдет. Учительница её спросит: «Встань, Беспалова Сюзанна, ответь: знаешь ли, что такое кукольный театр?» А она и ответит: «Конечно, знаю. Я по телевизору видела. Там куколки такие хорошие. Которые из дерева, а которые из тряпок. Вот им пальцы внутрь-то засунут, а они знай представляются: то плачут, то смеются. Как живые». Учительница обрадуется: «Садись, – скажет, – Сюзанна Беспалова. Ставлю тебе пятерку». А дети тоже удивятся: «Надо же! В детский садик не ходила, а сама все знает»...

Евдокия: - Разбогатела, так вставай.

Антонина: - По Гостиному шла – отдел у них большой, ткани. И шерсть, и ситец, и штапель. Красота.

Ариадна: - Гостиный большой. У отца магазин был. И склад близко. Прямо за Думой.

Антонина: - Я вот и подумала, может, и мне платьишко какое сварганить фланелевое? Моё-то совсем старое. Светится на локтях. Да это я так, на будущее...

Евдокия: - Совсем из головы вон. Елку сегодня купили. Под лестницей на санках привязана. Ты уж сходи, забери. Ну, уж елки. Не елки, а палки. Иголки сыплются ржавые, точно год назад срубили. Еле выбрали. Ребенку-то без елки никак...

Евдокия: - Антонина неспроста завела. Про платье про это. Как бы с кем не снюхалась.

Гликерия: - Ну и что такого? Дело молодое – ниткой не зашьешь.

Ариадна: - Если что, пусть к мужу уходит, лишь бы Софья с нами осталась.

Евдокия: - К мужу! Это еще полбеды. А в подоле принесет?

Гликерия: - Так объяснить надо. По умному сделает – ничего и не будет.

Евдокия: - Ты-то откуда знаешь?

Гликерия: - Так чего? Дело-то нехитрое. Мне Соломон Захарович все разъяснил.

Евдокия: - Ну, как же. У них же в войну шуры-муры...

Гликерия: - Да какое там... Что он, что я – живые покойники. Так, поговорить.

Ариадна: - А после войны?

Гликерия: - Виделись. Замуж меня звал. Жена у него погибла. В Белоруссии, что ли.

Евдокия: - Ну, а ты чего?

Гликерия: - Так детки у него. Двое. Подумала-подумала. Не пошла на детей. Мужик-то он неплохой, и врач уж очень хороший. А вот не решилась. Жалела его это правда. Он когда еще говорил: если войдут в Ленинград меня с девочками первыми расстреляют. Я еще, дура, не верила. Думала, все под немцем одинаковые...

Евдокия: - Ихняя нация, хоть от немца. А наша все больше от себя. Воистину сами себе первый враг. Чужие-то только задумать успеют, а мы уж, глядь и сделали...

Ариадна: - Сама не знаешь, что говоришь. Ты, Евдокия Тимофеевна, все-таки следи за собой. А представь себе, Софьюшка заговорит? Да, не дай бог еще в школе?

Евдокия: - А чего ей в школе-то? И так, небось, грамотная. Я вон три класса окончила, на всю жизнь хватило. А наша-то и по-русскому, и по-французскому, считать научится – и хватит.

Ариадна: - Ты сама подумай, как это можно, без школы-то? Не заговорит, так в Особую направят.

Евдокия: - Нет. В такую – не отдам. Костями лягу. Нечего ей там делать.

Гликерия: - То-то они костей твоих напугались. Явятся – утащат силком.

Евдокия: - С вами сидеть – греха набираться. Ребенку гулять пора.

Картинка седьмая «Платье»
Ленинград, декабрь, 1961

Гликерия: – Фланель эта – почему, например, за метр?

Антонина: – Так, разная. Которая с цветами да поплотнее – дорогая. По два сорок пять.

Гликерия: – Новыми?

Антонина: – Теперь всё – новыми.

Гликерия: – Три метра – семь рублей, считай... А та, другая, что пожиже?

Антонина: – Пожиже-то бумазая, по рубль сорок. Совсем внатруску и марка очень.

Гликерия: – Ты вот что теперь у меня рубль восемьдесят только. Пенсию на днях принесут. Съезди, купи два отреза, сама выбери, которая лучше. А я сошью – и тебе, и себе. Одинаковой только возьми: лоскутки останутся, передничек еще соберу.

Антонина: – Сюзанночке? Ей-то, – говорю, – зачем? Неужто с детства к венику прилаживать?

Гликерия: – А с какого же еще? Вырастет – поздно будет. Меня вон с каких в белошвейки готовили. Я ведь чего хотела... Жизнь наша, она ведь по-всякому складывается. Пока молодая. Мало ли, кто-нибудь понравится или ты ему. В жизни всяко бывает, а головы не теряй. Одну, бог даст, мы уж вырастим, а более не в силах. Вот и слушай: мало ли, до чего у вас дойдет, а ты уксусу загодя купи или аспирину. В воде раствори. Возьми клочок ваты – ниткой перемотай да в воду эту и окуни. Вату-то заранее пихнешь, а нитка длинная – наружу высовывается. Вот кончится у вас, а ты помни: минутку-другую подожди да и вытягивай наружу. Поняла ли?

Антонина: - Поняла. Батюшки, стыд-то какой... Кто ж это все выдумывает? Неужто и другие пользуются? Нет, – думаю, – не может этого быть. По Невскому еду, а сама все думаю: уж покупать, так чего поярче. Или, может, цветами... Вон Надька Казанкина летом-то явилась – цветы крупные, оранжевые. Рукой проведешь: чистый шелк. Штапель, еще хвастала. И по подолу – кайма. Господи, вспомнила, мне же одинаковой наказали: Гликерия в цветах не наденет. Штапель, конечно, дороже. Надьку сегодня видела, да постеснялась спросить. Совсем на смех подымет: бабе под тридцать, а туда

же – в штапели наряжаться. Потом-то отговорюсь как-нибудь: мать, совру, подарила. Не откажешься от материна подарка. Приблизилась, а штапель этот: три двадцать. Гликерии не стану признаваться, а разницу сама доложу. Стою – глаза разбегаются: вроде все нарядные.– Мне, – указываю, – на два платья режьте. Вон в этот цветочек. Домой пришла, Развернула, по кровати раскинула: цветочки маленькие, маки. Пестрят по синему полю. Гликерия как увидела – за сердце взялась:

Гликерия: – Ох, красота неопиcуемая – хоть сейчас помирай. Завтра же, начну. Мерки только снимем. А ты вот чего...

Антонина: – Чего, пуговиц, что ли, купить?

Гликерия: – Нет, есть у меня пуговицы. Завтра машинку достану, мигом сошью.

Антонина: – Может, нехорошо одинаковые... Вроде как из детского дома.

Гликерия: – Батюшки, да неужто я носить стану? Это ты носи.

Антонина: – Зачем же шить, если носить не будете?

Гликерия: – А как же в старье? В старье, небось, не предстанешь. Вот сошью, в шкафчик к себе запрячу. Пусть пока полежит. У меня уж все приготовлено: и подушечка, и подзор.

Антонина: -Господи, – думаю, – как же я платье это надену? Молчала бы уж лучше... А то будто и мне – в гроб. Знать бы, разной материи купила. Ох, – вспомнила. – Она ж и передничек собиралась, Сюзанночке, из лоскутков. Ну уж нет! Я-то еще ладно, а ребенка – не дам. Сошьет – на помойку выкину или – еще лучше – спалю. Будто и не было. Нечего ей ходить в гробовом. Легла, а самой не спится. Мужик-то и скромный, вроде и непьющий. А ну-как – замуж позовет? Не век же одной мучиться. Лицо его представила. Доброе, хорошее, а не по себе. Ничего, думаю, главное, из наших: не городской. Поди, пойми их... Материально тоже лучше. Мужики не в пример бабам зарабатывают. Совсем другие расценки... Потом-то спохватилась. Сам-то он, может, ни сном, ни духом. Вот позовет, тогда и посмотрим...

Картинка восьмая «Телевизор»
Ленинград, февраль, 1962

Сюзанна: - Коробка большущая, сто комнат в ней поместится. Мама с дядькой чужим тащат – схватили с двух сторон. «Ну, – дядька чужой спрашивает, – куда его нести?» – «А туда вон», – рукой показывает. Значит, к бабушке Евдокии... В прихожей ходят, разговаривают. Слов не разобрать, только мама веселая. Гляжу: домик. Впереди окошко стеклянное. Окошко темное. Вдруг огонек вспыхнул, будто искра. Шире, шире... А из домика – музыка. Как же это? Лебеди рядом стоят, крыльями взмахивают... Платья у них перистые, а на головках – уборы. Стоят, шевелятся. Целая стая. А впереди лебедь белая. Бьется, бьется, сейчас взлетит...

Ариадна: – Боже мой! Это же «Лебединое озеро»... Балет...

Гликерия: – Что ж это они, балеты все больше показывают?

Антонина: - Да нет, разное. По вечерам новости. Комендантша все включала. Ну придешь когда, послушаешь. Только скушно больно. Сидят, читают попеременно. Концерты еще случаются. Бывает, поют хорошо... Это ж надо... Телевизор ведь купили. В деревне-то с лучиной бывало, а тут – кому рассказать... Не удержалась, девкам в цеху похвастала. Надька-ехидна и тут встряла: «А ты, не иначе, разбогатела? Денег девать некуда?» – «Материны, – отвечаю. – Мать пенсию откладывала». Похвастала, а сама жалею. И чего распустила язык? Ладно, небось, не украла.

Ариадна: – Боже мой! Смотрите, это ж физкультурники... Спортивный парад.

Гликерия: – Февраль, зима на дворе. Какой им теперь парад?

Ариадна: – На праздник очень похоже. Кажется, Первое мая...

Гликерия: – Праздник-то праздник. Только кофты на них полосатые, помнишь, перед войной.

Евдокия: – Батюшки, ты на тряпку, на тряпку-то глянь.1941.

Ариадна: – Помню. Мои тоже ходили. Младшего дома оставили – втроем пошли, с институтом.

Гликерия: – Господи, идут, смеются...

Ариадна: - Пойду лягу. Не могу. Как подумаю, что мои там живые идут...

Гликерия: – На демонстрациях этих... Всех, что ли, снимали или кого по выбору?

Евдокия: – Подряд-то, небось, не снимешь... Это сколько ж их надо – с аппаратами? Не напасешься.

Гликерия: – А вдруг, напаслись? Сняли и припрятали. Так и лежат у них. Этих-то теперь показали, а другой раз – других.

Евдокия: – Если в сорок первом, они же все, почитай, мертвые... Которые в блокаду, которых – на фронте... Когда ж они начали? Перед войной? Кино-то и до войны снимали. Ох, Тошно мне...

Гликерия: – Спрятали, с самой Гражданской спрятали. Хранилищ для них понастроили. Как живые, ни войн на них, ни болезней. Как смерть застала, так и остались – молодые, здоровые. Очереди своей дожидаются: в телевизор попасть.

Евдокия: – Глупости мелешь! Все, мол, кругом одинаковые – на одних правах? Умерли, а все в одном месте: и грешники, и праведники... И очередь у них одна? Ну уж нет! – На этом свете не разобрались – и концы в воду? Не будет этого. Господь-то все видит. Смерть – не война: грехи не спишет. Здесь не сподобил, значит – там ответ держать. Не верю я. Зачем им хранить. Это ж следы. Случись чего против них же и обернется... Батюшки! Явилась. Босиком стоять. А ну, марш в кровать! Тоже, взяла моду...

Картинка девятая «Очередь»
Ленинград, март 1962

Зоя Ивановна: - Тебя, говорят, Беспалова, поздравить можно – с покупкой?

Антонина: - Купила. Пусть дочь смотрит. Сами ж учили – в школу ей идти.

Зоя Ивановна: – Учить-то учила, только не пойму никак. С кем это ты очередью поменялась?

Антонина: - А чего, нельзя?

Зоя Ивановна: - Можно, у нас все можно. Только вперед – в местком. Нас в известность поставь, в списках отметить. Очередь-то общая.

Антонина: – Да я ж не знала... И какая разница? Оба же стоим.

Зоя Ивановна: – Большая разница. Во всем порядок нужен. Так-то каждый надумает местами меняться. Вот он у меня, сборочный, в отдельной папке. Кто стоял, к майским получали. Не пойму – все вроде взяли.. Так с кем же ты поменялась? На кого отмечать?

Антонина: – Я Зоя Иванна, девкам неправду сказала. Прямо и не знаю, как вышло. Сборочный – ни при чем. Мы с Ручейниковым Николаем, с гальваники. Он ведь одинокий, и комнаты у него нету. Сговорились: теперь я возьму, а он уж потом, к осени. К майским комнату дадут. Говорит, должны уж.

Зоя Ивановна: - Интересно у вас с Ручейниковым выходит... Надо же, должны им... Вон у нас – семейные мыкаются, а им должны. Не нужен телевизор, так не вставал бы. Другие найдутся, которым нужнее.

Антонина: – Так теперь-то как? Обратно, что ли, везти?

Зоя Ивановна: – Зачем же? Теперь уж все, деньги заплочены. Пользуйся покуда. Вот и в списке у меня отмечено: Ручейников Н.Н.

Антонина: – Так вы меня вместо него впишите, чтоб путаницы потом не вышло.

Зоя Ивановна: – Впишем, не будет путаницы. Все впишем, что полагается. Ты, Антонина, смотрю, баба ушлая, а глупая. Ладно, когда по молодости. А теперь, чай, не девка. Раз принесла в подоле, во второй раз примериваешься? Так и будешь безотцовщину плодить? Пользуетесь, что государство у нас доброе – и ясли, и сад, и все вам на тарелочке. Рожай не хочу – хоть под каждым забором...

Антонина: - Что ж вы так, Зоя Ивановна? Разве я кому-нибудь на шею? В две смены работаю, лишь бы ребенка обиходить. И в ясли всего ничего ходила – три месяца только, и в садик не ходит.

Зоя Ивановна: – Спасибо скажи, что мастер в две смены позволяет. И учти: в Америке таких, как ты, – поганой метлой. Там с такими матерями не цацкаются. Иди и подумай. А то ведь поздно будет.

Надька Казанкина: -Хитрая ты, Антонина. Тишком, да тишком, а мужика-то, гляди отхватила – кругом положительный, только что не партийный пока. Тут трудящиеся интересуются, как у него по ходовой части? Ежели подходяще, так, может, с народом поделишься – не все ж себе да себе...

Антонина: - Да, ну тебя совсем!

Надька Казанкина: - Иди, иди... Женишок-то, небось, дожидается.

Картинка десятая «Свидание»
Ленинград, март, 1962

Николай: - Ну, отметила?

Антонина: – Отметила. Только злится она – глазами так и стришет.

Николай: – Ничего, пострижет и перестанет. Подумаешь, очередь поменялись: грех какой. Ты чего смурная? Зою напугалась?

Антонина: - Не знаю... А не по себе чего-то... И внутри болит

Николай: - Да брось ты, Зоя, небось, не зверь. Может, и забыла уже. Мало ли дел у них...Давай, я тебя кофеом угощу. Тут и булки есть. Я пирожные предпочитаю, трубочки с кремом.

Антонина: - Поглядела – двадцать две копейки. Ишь, думаю, предпочитает. Хорошо им, одиноким – пирожные предпочитать. А сама думаю: попробовать хоть. Кофе вкусное. Сладенькое. С тем не сравнить, с черным... Пирожное надкусила. Тоже вкусно. Вот, думаю, Сюзанночке бы снести. Она бы порадовалась. Мне ведь так, баловство... А чего, соображаю. Завернуть и – в сумку. Нет, теперь-то неловко. Сегодня сама уж съем. А завтра ей куплю...

Николай: - Чего хмуришься: не нравится?

Антонина: - А правда это, что в Америке матерей с производства гонят, которые одинокие, без мужа?

Николай: – Эва, куда, тебе-то что? Слава богу, не в Америке живем...

Антонина: – Все-таки не верится как-то... Что ж они там – звери?

Николай: – Не знаю, может, конечно, и не звери, но о трудящих своих не заботятся. Квартиры вот точно не дают – сами у них покупают.

Антонина: – Как это, покупают? В магазине, что ли?

Николай: - Не знаю. Может, и в магазине. И сколько ж твоей дочке?

Антонина: – Шестой пошел.

Николай: – Это хорошо, значит, скоро в школу. Лицом-то в кого пошла?

Антонина: – Не знаю. Вроде бы в меня.

Николай: – Ты-то из себя ничего, симпатичная. Я когда еще заметил.

Антонина: – Да ну тебя! Может, по молодости и была...

Николай: - Отец-то ее где?

Антонина: - Не знаю, может, уже и умер... А может, сидит.

Николай: - Это, да... Вон, отец у меня. С войны пришел без ноги. Сначала – ничего, радовался, а потом запил. В райцентре дело было. Дверь они в лабаз взломали: водку шарили с мужиками. И взяли-то две бутылки. А участковый, падла, как раз мимо шел. Дружки-то – тю-тю! – сбежали. А ему куда, с костылем?.. Скрутил его участковый. Мать как узнала, побежала, в ноги ему кинулась: “Фронтвик, за водку уплотим...” Сидит, сучий потрох. “Пусть суд, – мол, – решает. – Глумился еще: – Ну и что, фронтвик? Закон для всех одинаковый. Так-то каждый воровать возьмется”. Сам, падла, войны и не нюхал – за юбками бабьими отсиделся. Отец мой – дурак: на себя вину взял... В суд привели, еще и подмигивал: “Ничего, пробьемся...” Дескать, гвардейцы... Напоследок свидание дали. Мать и пошла. Возвращается, бабке рассказывает. Я-то, хоть малец, лежу – слушаю. “Сам, – говорит, – веселый. Давно таким не видела. Чем, говорит, в деревне пропадать, лучше уж там, в лагере. Отсиджу – все дороги открыты: хошь куда поезжай...” Может, и твой так... Суд-то был?»

Антонина: - Не знаю, может, и был, только меня не позвали – мы же с ним так, не расписаны.

Николай: – Значит, и дите незаконное?

Антонина: - Ага. Так родила.

Николай: – А отчество у нее какое?

Антонина: – По нему записала: Григорьевной. Это-то разрешают.

Николай: - Николаевна, вроде, не хуже? Ладно, шучу. Это ничего, что незаконная. Теперь уж пусть растет. Лишь бы здоровая была...

Антонина: - А что, отец твой вернулся?

Николай: – Вначале писал еще. Мать передачи все слала. Потом замолк. Ни слова от него. Думали, в лагере сгинул... Потом-то слух пошел, будто в райцентре видели. Может, и спутали. Мало ли безногих... В общежитие зайдешь что ли или как?

Антонина: - Нет. Этого не могу. Извини.

Николай: - Тогда к себе позови. Мамаша твоя, чай не зверь? Да ты не бойся, я не как-нибудь. Я по-серьезному. Посидим, познакомимся сперва. Да и ребяташки меня любят...

Картинка одиннадцатая. «Переговоры»
Ленинград, март 1962

Антонина: – Хочу знакомого в гости позвать. Человек хороший, непьющий... Работаем вместе. Вы, как – не против?

Евдокия: – Здравьете! А мы-то при чем? Хочешь звать – зови.

Антонина: – Ну как же, семьей живем.

Евдокия: – То-то и оно. В семью таких гостей не водят – на стороне как-нибудь устраиваются.

Ариадна: – Да бог с тобой, Евдокия Тимофеевна! Что же ты такое говоришь?..

Евдокия: – Да уж говорю, значит, знаю. Не со вчерашнего на свете живу. Только учти – дите все видит, все замечает, как вы бабкам ее возьметесь подкладывать, чтобы блудить не мешала.

Ариадна: – Не пойму, что тут особенного... Придет человек, попьет чаю.

Евдокия: – Ну, глядите... Как бы после плакать не пришлось – кровавыми слезами умываться... Сам-то он где обретается – в общежитии?

Антонина: – Пока что в общежитии. К майским комнату обещали дать.

Евдокия: – Ну а ты ему на что будешь – ежели комнату дадут?

Гликерия: – Злая ты, Евдокия. Все-то у тебя не по-людски.

Евдокия: – Чего ж тут – не по-людски? Мужик он свободный: ему свободная баба нужна либо – девка. Ты вон, небось, на детей не захотела. А тут еще – немая... Своих-то инвалидов бросают – а такую-то разве станет кто жалеть?

Ариадна: – Если в гости придет, надо принять как следует. Обед праздничный приготовить, к чаю купить.

Гликерия: – Бутылочку еще... Ты гляди, обновку свою надень.

Антонина: – Хорошо. Только вы-то, главное, Евдокию Тимофевну попросите. Пусть уж про немоту молчит.

Гликерия: – А сама чего ж?

Антонина: – Так сердится она. А к вам и прислушается скорее.

Гликерия: – Ты сердца на нее не держи. Жизнь ее такая – вроде доски стиральной: ребрами да ребрами... Думает, раз жизнь вокруг басурманская, значит, и люди все – басурмане. А Бог милостив. Чистых душ все одно больше. Может, и тебе повезет...

Антонина: - Спасибо вам, Гликерия Егоровна. И на добром слове, и на пожелании. Вы и сами знайте, и обеим другим скажите – как бы ни сложилось, доброты вашей не забуду. Вы мне – семья. А что ошибку по молодости совершила – этого больше не повторится. И не сомневайтесь.

Гликерия: – Вот и Господь с тобой. Ты ведь нам тоже родня. Нагни, головку. А ежели что, так не теряйся – про укус-то не забудь...

Картинка двенадцатая. «Юла»
Ленинград, март 1962

Антонина: - Так-то хорошо вроде: селедочка, огурцы соленые... Кагора бутылку взяла. Картошки наварила. Лучок на постном масле обжарить... Винегрет-то, думаю, не буду – не праздник. Вот если на майские, тогда уж. Блинков напекла. Сюзанночка блины любит. Хорошо, а все одно – не по себе. Как представлю застолье это: старухи сидят, зыркают. А потом – как ему объяснить? Скажу: родня материна, седьмая вода на киселе. Дескать, сперва и знать не знала, а потом родней и сочлись... В переднюю вышла – тут только вспомнила: платье-то... С блинами этими закрутилась, забыла совсем. Да уж поздно теперь...

Николай: – Здравствуйте вам. Хорошо! Пирогами с лестницы пахнет. Ну, где же дочь твоя?

Антонина: - Сюзанночка, кричу, выйди. Познакомьтесь, вот: Евдокия Тимофеевна. А это – Николай...

Николай: – Никифорыч по батюшке.

Антонина: – А вот, дочь моя, Сюзанна.

Николай: – Это Юла называется, по-нашему – волчок. Знаешь, как играть? А я вот покажу. Ну, сама-то сумеешь? Что-то ты, я гляжу, неразговорчивая. Меня, что ли, напугалась? Так не бойся. Я же не серый волк.

Евдокия: – А она у нас вовсе не разговаривает. Немая с рождения.

Николай: – Так уж, немая... Немые-то – не слышат. А она и слышит все, и понимает.

Антонина: – Понимает, ой, понимает... Даже книжки французские понимает. И передачи по радио...

Николай: – У нас в деревне малец был, постарше меня. Молчал все. Тоже болтали разное: дескать, немой. Лет до семи молчал, а потом ничего, разговорился. Подрос, выровнялся – пионером стал. В войну погиб, правда. А так бойкий вырос. Это он в детстве напугался: раскулачивать их пришли. Зимой на снег выгнали, а потом разобрались – признали середняками. Вот я и говорю: бывает, напугается, а потом и проходит

Евдокия: – Ей-то с чего пугаться? Нас никуда не выгоняли. Тихо живем.

Антонина: – Что ж вы так, Гликерия Егоровна, блинков-то отведайте...или аппетиту нету?

Гликерия: – Да какой, – отвечает, – аппетит – в мои-то годы...

Николай: – Ох, вкусные блинки. В наших краях на обед не пекут. Глупый народ, суеверный – блины, говорят, на поминки.

Антонина: – В деревне-то, конечно. У нас тоже – на поминки. В городе – другое дело. Обычаи не соблюдают.

Николай: – Вот, значит, Евдокия Тимофеевна. Хорошую дочь вырастили. Работящая, скромная, на производстве ее уважают. Я вот тоже...Этот-то парень, который молчал, когда уж говорить начал, забыл, что раньше было –

ну, пока немой. И взрослый уж вроде, а напрочь из головы вылетело. Вот я и думаю: неужто немота действует? Пока молчишь – и памяти нету?..

Наверное, ведь так... Ох, – вспомнил, – дразнили его потом: «Ну-ка, Минька, расскажи, как тебя раскулачили? Помнишь?» Озлится весь: не было, орет, этого, не было! Не помню! Средняки мы. Так и дразнили его – Средняк.

Евдокия: – А вы из бедняков, видать?

Николай: – Мы-то – да, отец мой из первых записался.

Евдокия: – А чего ж сами в колхозе не остались? Как бы хорошо...

Николай: – Да чего ж, – нахмурился, – хорошего... В городе-то лучше. Вон Петр соседский в армии отслужил – в Москву подался. Приехал. Подарков навез: матери – ситцу, платок еще. Туфли сестре. Хвастал: комната, мол, своя. Зарплату дают деньгами. Мать послушала-послушала, а мне как раз в армию идти... Ладно, болтаю больно... Давайте за здоровье ваше выпьем: долго живите, не болейте. И чтобы дети ваши здоровыми были да вас радовали.

Евдокия: – Хороший тост. Грех за него не выпить.

Николай: – Спасибо, хозяйюшка. Все очень вкусное. Может, комнату свою покажешь – поглядеть.

Евдокия : – Так ребенок там. После обеда спать ложится. Вы уж тут, в кухне побеседуйте. А мы пойдем – тоже приляжем.

Николай: – Да, мамаша у тебя строгая – генерал. С такой-то не разгуляешься. А эти, другие, сестры ее? Меж собою очень похожи.

Антонина: - Так уж и похожи....

Гликерия: -Водички, попить. После вина-то – жажда.

Евдокия: – Уложила. Только не уснет никак – беспокойная чего-то. Пойду рядом посижу.

Ариадна: - А может, чайку? На дорожку-то?

Николай: – Ну, и мне пора. Завтра на работу – лечь пораньше. – Я ведь тоже, случается, по матери скучаю. Она у меня строгая. А потом – не-ет, думаю... На свободе-то веселее...

Антонина: - Кому ж это веселее, думаю? Пошла посуду мыть. Стирка ещё. Белье постельное... Михалыч, мастер наш рассказывал, будто машинку придумали – белье стирать. Грязное положишь, она и вертится. Глядь, а все чисто. Девки смеются: «как это вертится? Избушка на курьих ножках что ль?» А я вот подумала: мало ли? Вон, Гагарина запустили. Машинку-то не в космос. Попроще, небось...

Антракт

Часть вторая

Картинка первая «Женсовет»

Ленинград, март 1962.

Завод, конец смены

Зоя Ивановна: - Вот, Беспалова. Хорошо, что попалась. В местком зайди после смены – дело к тебе есть.

Антонина: – Что за дело? Вроде очередь-то отметили.

Зоя Ивановна: – А ты прям как ангел небесный... Думаешь, только и дел у нас, телевизоры ваши отмечать. Сама-то за собой, что – иных грехов не чувствуешь?

Антонина: - Сегодня не дожидайся после смены. Зоя вызывает – надумала чего-то. Не иначе, снова отчитывать примется, чтобы ребенка в детсад сдать. А чего ей там, в саду? Дети – злыдни: со свету сживут. Считай, отдать на муку.

Николай: - Так урезонь ее. Объясни по-людски. Молчит раз ребенок.

Антонина: - Что ты, что ты! Она ж не знает ничего. Ни одна душа не знает. Ты вот только.

Николай: - А и верно. Нашим бабам попади на язык – такого распишут, чего было и чего не было.

Антонина: – Да это, пусть бы болтали. Другого боюсь: по больницам ведь затаскают, загубят девку. У нас в цеху тоже одна была. На кислотах до последнего работала, живот себе перетягивала, чтобы поменьше видно. А мальчонка родился – сперва, вроде здоровый, а потом глядят, а он и ходит плохо, и голова какая-то большая... Который год по больницам. К ним только попади, затаскают по врачам. Совсем загубят девку.

Николай: - Да-а, врачи-то они всякие. Случается, нарочно вредят... Вон, – говорит, – евреи. Вредителей среди них открыли, я первый голосовал.

Антонина: – Так их вроде оправдали ж потом?

Николай: - Этих оправдали. А другие-то, может, и вредят.

Антонина: – Да как-то не верится. Все-таки врачи...

Николай: – Чего не верится? Немцы-то тоже не дураки, небось. Лагеря им специальные выстроили. Вот я и думаю: неспроста. Видно, не просто так. В общем, правильно опасаясь. Так и надо.

Антонина: - Иду, а холодно в сердце. Будто пальцы чьи на горле.

Зоя Ивановна: - Заходи, Антонина. Мы вот тут женским советом собрались – побеседовать по твою душу. Поговорим, о жизни твоей подумаем. Раз уж меня не слушаешь. Сигналы на тебя идут – на твою беспутную жизнь. Я уж и так и эдак – можно сказать, по-матерински, а тебе – и горя мало: по-своему норовишь. Нехорошо, чтобы женщина себя не соблюдала – ребенок подрастает, а тем более – дочь. Какой ей с тебя пример? Женщина, она – мать. А потом уж – остальное. По-женски мы тебя понимаем, только и в стороне стоять не намерены – не имеем такого права. Вот и ответь нам: как у вас с Ручейниковым Николаем – серьезно или так? А если серьезно, так замуж за него собирайся. А кобениться вздумает, мы его мигом под микитки. Ишь, устроился – бабу нашел. Теперь, говорит, комнату обязаны. Это, я так понимаю, чтобы было куда водить. В комнате сподручнее. В общежитии-то не ахти развернешься.

Парменова Валька: Я как думаю. Антонина не больно виновата. Мужик, какой ни есть, а в загс его не затянешь. Раздумывать будет.

Зоя Ивановна: - Ничего, мы свою управу найдем. Видали мы таких раздумчивых. Женщина - хранительница домашнего очага. По-нашему, плиты или печки. Значит, порядка в доме. Мужик – он что? – вроде телка?. Которому умная да ухватистая попадетса – и сам такой становится. Вся дурь из него – как рукой... Вон моего возьмите: первое время норовил... А теперь и знать не знаю, чтобы с полочки, к примеру, караулить. Кружечку, конечно, выпьет, а так – все в дом. Ты, Антонина, баба добрая, только податливая больно – так-то жизни не построишь. Одна беспутность выходит. А я вот еще примечаю: посторонняя ты. Мы-то все в одном котле, в коллективе, а ты в сторонке будто. Ведь сколько раз говорила: девку свою не гробь. В детский

садик отдай. Куда там! – как об стену горох. Уперлась. Будто в садике – враги...

Бурагова Верка: - Где ж это видано, чтоб ребенка счастливого детства лишали? Это ж – не мать, а мачеха!

Зоя Ивановна: – Ты тоже охолопись. Ярлык-то навесить недолго – много ума не надо. Не для того собрались, чтоб ярлыки друг на дружку вешать. Вам, бабам, волю дай – заключете..

Бурагова Верка: - Мне-то чего? Я ж за ребенка ее переживаю. Ребенок себя не защитит.

Зоя Ивановна: - Во-от, это правильно. Пора, Антонина, за ум браться. Ну, иди пока.

Картинка вторая «Графиня»
Ленинград, март 1962

Антонина: – Можно, Гликерия Егоровна? Мне бы поговорить. Как вы посмотрите, если я за Николая пойду?

Гликерия: – Имя у него хорошее: в честь заступника нашего и чудотворца. Только ведь опасно.

Антонина: – В чем же опасность? Из-за Сюзаночки? Так он и к детям – хорошо. Вы уж объясните. Не у кого мне спросить.

Гликерия: - А сама подумай. Не зря говорят: замуж – не напасть... Вот ты молодая еще – всего не помнишь. А я по молодости за графом жила.

Антонина: – Как это за графом? Вы что же, Гликерия Егоровна, – графиня? Графини-то другие, небось. Я и в книжке видела: платья у них колоколом, на голове шляпа с перьями.

Гликерия: – Да какая графиня... Так жила. Мать-то моя из ихних крепостных. Добрый был, хороший и меня страсть как любил. Венчаться предлагал. А мне и боязно: куда там! Ни сесть, ни присесть не умею. Сказала ему. А он смеется: «Ты у меня самая красивая!» Да так ведь сказал, что я и решилась. А тут – революция. Вот он и просит: поехали да поехали. У нас, говорит, дом есть во Франции – там переждем. А у меня дочь родилась незадолго. Вот ее в

деревню и отправили – в Черниговскую губернию. Имение у них было в тех краях.

Антонина: – Зачем отправили?

Гликерия: – Так говорю тебе – невенчаные. Ребенок-то прижитой, незаконный. Все так делали. Скрывали позор. Кого в приют, кого – в семью. Бедные-то семьи принимали за деньги.

Антонина: - Ох, прямо хуже, чем в Америке. Этих-то с работы только гонят. Вроде не принуждают в приют. Слава богу, что революция... А так-то, не приведи господь...

Гликерия: – Первое время тосковала, а потом – ничего, утихло. Я ж ее толком и не видела. Унесли сразу. И крестили без меня. Он уж после сказал: нарекли Серафимой. Вот я и говорю: «Поедем, только за ребеночком съезжу. Чтобы уж вместе – а там как Бог даст...» А он: «Чего, – мол, – ребенка с места трогать? Вернемся месяца через три». А я: «Нет». Уперлась. Ну, он и разрешил. Поезда уж плохо ходили. Пока добралась, а мне говорят – померла. Погоревала-поплакала, а обратно не выехать. Банды гуляют. Через год только и вернулась, а его нету. И в доме его другие поселились. Народу в каждой комнате! Мне и не приткнуться. Дворника нашего встречаю. В третьем этаже занял. Раньше-то в каморке обретался... Вот он мне и говорит: «Граф, его сиятельство, за границу подались». Видно, ждал до последнего, надеялся. А потом стрелять их стали, он и побежал... Скучала по нему, плакала. А теперь-то и думаю: ну повенчались бы... А потом? Одно дело – любовница. Их не больно дожидаются. А жена бы? Хочешь не хочешь – а жди. Вот и дождался бы: самого – под пулю, и меня вместе с ним. Сколько их, жен, пропадало – из-за мужей своих... Его-то возьмут – и ее следом... Видно, бог меня уберег. Вон, возьми, у Евдокии. Старшего забрали – и жену. А уж какая барыня была... Не мне чета. И младший ее тоже. В органах служил. Их черед-то пришел – оба и сгинули, с женой.

Антонина: – Кого это – их?

Гликерия: – Ну, которые, в органах. Но их-то попозже. Допустили пожить. Ты ведь, небось, как думаешь? Я всегда старухой была? А в войну сватался один: хороший человек, еврей.

Антонина: – Врач?

Гликерия: – Да-а. А ты-то как догадалась?

Антонина: – Так много их было – из евреев.

Гликерия: – Уж это правда. Евреи – доктора хорошие. А Соломон-то Захарович – особенно. Как случай какой – к нему ведут. И сам из себя видный. На графа моего похож. Не лицом – повадкой. Тоже вдовец. Девочек у него двое. Я уж, было, и решилась. А он и говорит: «Если в Ленинград войдут, меня с девочками из первых расстреляют...» Вот я и подумала: и меня с ними. Погожу, решила. Наши верх возьмут, тогда и поглядим... После войны снова начал – выходи да выходи. Наши-то одержали победу, значит, думаю, – судьба. А сама время тяну... И чего тяну – не знаю. Прямо бес вроде под руку: погляди, дескать, как пойдет. И точно: нацию ихнюю сослать намерились. Тут я снова задумалась: выйду – значит, и меня. Потом-то ничего, обошлось, слава богу. Только я с тех пор решила: все. Раз уберег Господь, другой, а третьего, может, и не будет. Так что нечего мне – замуж. Это уж, если по любви великой: чтобы все равно было – хоть на жизнь, хоть на смерть. А с трезвой головы, так уж лучше одной... Перебиваться как-нибудь. Все рассказала тебе. А так-то сама решай. Мы уж старые, долго не протянем. А случись чего, ее ж в приют заберут.

Антонина: – Женсовет сегодня был. Меры, говорят, примем, чтобы женился.

Гликерия: – Это они нарочно. Вроде за жизнь твою заступаются, а сами только и думают, как бы скрепить с кем, чтобы сподручнее губить... – А так-то - выходи, если всем готова пожертвовать. И жизнью, и дочерью. А теперь одна я хочу. Богу помолиться.

Картинка третья «Про любовь»

Ленинград, март, 1962

Евдокия: – В Мавзолей этот ходят, ходят... И чего ходить? На покойника любоваться? Своих им мало. Так еще на чужого... Ну чего? Была она у тебя? Или примстилось мне?

Гликерия: - - Была.

Евдокия: – Ну и с чем?

Гликерия: – Так, платье хочет. Еще одно, к лету.

Евдокия: – Ох, и горазда... Молчала б уже. Вранье твое за версту видать. Ну?

Гликерия: – Замуж собралась. За этого Николая.

Евдокия: – Дождались. Пожили в спокойе... Теперь по-старому пойдет. Софью – побоку, младенцев нарожают горластых.

Ариадна: – Ну, заступимся, если что...

Евдокия: – А они уж тебя послушались! Ну а ты что? Что присоветовала? Идти али нет.

Гликерия: – Да что я могу... Сказала, сама думай – тебе, мол, жить.

Евдокия: – Уж это ты молоде-ец. Верно присоветовала. Только наперед-то учти: Николай этот каждую копейку по пяти раз сочтет да в рот к тебе заглянет – много ли съела. С твоей-то пенсией – чуть что не впроголодь...

Гликерия: – Раньше-то жили...

Евдокия: – Ага, до реформы до ихней. Твои триста семьдесят – еще деньги были. А теперь? Цены-то как скакнули! Антонина рассказывает, а я на ус мотаю. Вот и будешь сидеть как собака: на хлебе да на воде. То-то на винцо да на селедку облизываешься... Привыкли жировать в барских-то покоях.

Ариадна: – Слушать вас стыдно. У Антонины, может быть, случай единственный... Раз в жизни выпадает. А вдруг – любовь?

Евдокия: – Любо-овь... Это раньше надо было – пока подол пустой... А с дитем, да с таким, как Софья... В общем, вот вам мой сказ: ребенок в возраст войдет, тогда уж пусть выходит. Хоть за кого, хоть за пятерых разом. А любовь эта... Лучше бы не было ее – этой вашей любви...

Ариадна: – Грубая ты. А любовь – это же такое счастье...

Евдокия: – Во-во... Задурили вам головы в гимназиях. Ну расскажи-ка, чтоб и мы вместе порадовались: много ли счастья от этой самой любви? Вот ты, небось, замуж по любви выскочила... А я – нет. Родители сговорили. А теперь погляди: чем у нас у обеих дело закончилось? Вот то-то.

Картинка четвертая «Комната»
Ленинград, март, 1962

Николай: - А ну, пошли-ка.. Сама, что ли, сбегала или надоумил кто?

Антонина: – Куда сбегала?

Николай: – Куда-куда... Так в завком. Я ведь как человек к тебе, а ты – вон каким добром...

Антонина: – Да каким добром?

Николай: - А ты дурочку из себя не строй. Женсовет они собрали... А с чего, спрашивается? Мужики-то всё мне объяснили: ты – в завком, а завком – к женсовету. А эти и рады стараться... Ну чего смолкла? Ставили вопрос? "

Антонина: - Какой вопрос?

Николай: – А чтобы женился.

Антонина: – Да сами они начали. Я и не заикалась.

Николай: – Значит, ставили. Тут она и есть, правда...

Антонина: – Да мало ли – ставили... Пусть себе ставят. Поговорят и забудут.

Николай: – Насчет забудут, этого не знаю, а поговорить уже поговорили. У них разговор короткий. С очереди меня сняли.

Антонина: – С какой очереди? На телевизор? Так ты не сомневайся: ежели что, я отдам.

Николай: - Да какой телевизор! С комнаты, с комнаты сняли... К майским должны были... Теперь не дадут.

Антонина: - Как же это – с комнаты? Столько лет ведь стоял...

Николай: – А так. В завкоме постановили: женюсь, мол, отдельную квартиру выделяют. На семью. И мастер туда же: “Гляди, – мол, – Николай... Бабы-то больно уж завелись женсоветские: добром, говорят, не захочет, силой принудим”. Только и ты учти: я ведь молчать не стану. И не надейся. До собрания дойдет, так все и скажу: дескать, не было у нас ничего. Ребенка на шею мне вешает. Инвалида. До последнего скрывала. Я и знать не знал...

Антонина: - И когда же собрание это?

Николай: – А через месяц. За месяц промеж себя решать, а потом уж – общественность вмешается. Чтоб им всем ни дна ни покрывки...

Антонина: - Не губи... Не губи ребенка...

Николай: - Чего ты, ты чего это... вставай с колен. А ну, вставай с полу... Хорош из меня зверя-то делать... Сама ведь все устроила. Чего ж мне, разве

ребенка не жаль? Так что – месяц у тебя. Придумаешь чего – меня не касается. Сама бабам объяснишь.

Антонина: - Да что ж я придумаю?

Николай: – А это твое дело. Хоть болезнь сочини какую – по вашей бабьей части. Дескать, замуж непригодная.

Антонина: - Ох, спасибо тебе... Уж ты не сомневайся: все, что надо, придумаю, лишь бы отступились. Докторам только попадись... Болезней у них – цельные книжки. Авось, какую и подберут...

Картинка пятая «Докторша»
Ленинград, март, 1962

Докторша: – Вы, Беспалова, когда в последний раз посещали? Карточки вашей нету.

Антонина: - Да я и не болела. Беременная-то приходила, конечно. Только другая доктор сидела – на вашем месте.

Докторша: – Аборты были?

Антонина: – Нет, не было.

Докторша: – Половой жизнью живете?

Антонина: – Нет, уж этого – нету. Разве что во сне.

Докторша: - Что ж вы раньше ко мне не явились? Ребенку вашему сколько?

Антонина: – Так шесть вот-вот будет. В школу через год.

Докторша: – Вам на операцию надо ложиться. И дело это срочное. Опухоль у вас, Беспалова. В матке. Думайте, с кем ребенка оставить. Родные есть?

Антонина: - Мать, была. Померла. Как же это... Неужто сразу резать? Может, таблетки какие или мазь?

Докторша: - Да какие таблетки! Раньше надо было – запущено совсем.

Антонина: – А это? С болезнью... Можно замуж?

Докторша: – Вы, Беспалова, замуж собрались?

Антонина: – Да нет, не то чтобы... Так интересуюсь. Мало ли, на будущее, а вдруг сложится... Один-то раз не сложилось. Мне бы справку... Для завкома...

Докторша: – Можно. Все можно. Только мужу не признавайтесь, что матка у вас вырезана... В общем, сдавайте анализы и – ко мне. Только уж хоть теперь не тяните. Чем раньше, тем лучше.–Справку после операции получите, в больнице.

Антонина: – А завтра как? Обратно в цех?

Докторша: – Да какой цех! Домой, домой идите!!! Неужели не понимаете? Опухоль у вас!!!!

Картинка шестая «София»
Ленинград, апрель, 1962

Сюзанна: - В середине – комната. Мама на кроватке лежит. Бабушки шептались: всё у нее отрезали. Как же – всё? Вон и ручки у нее остались, и ножки. Чашку взяла, водичку пьет. Снова перепутали. Ничего не знают... В углу – телевизор. В телевизоре дядька. Это у него все отрезали. Одна голова и осталась. А он и рад: зачем, говорит, мне туловище? Голова-то одна – лучше. И мыться не надо...» А сверху – облачко. Отец на облаке сидит, на нас поглядывает. Мама на него смотрит, а дядька мертвый сердится. «На меня, – зовет, – смотри...» Бабушка Евдокия рядышком села. Платок с головы сняла...

Евдокия: – Ты, – говорит, – случись чего, дак имя свое помни. Не это – Сюзанна. Это для людей. А для Бога имя тебе – София. Она и заступница небесная. Дева белоснежная, Божья слава. Самая премудрая – мудрее и нет на свете. Бог ей шепнет, а она добрым людям пересказывает. Все передаст – до словечка. А те, кто не слушают, одно уныние в них да глупость. А Софья и не глядит на них: знай себе вокруг смотрит. Наглядится за день, а к вечеру сядет, краски с карандашами возьмет – все как есть нарисует. И леса зеленые, и моря синие, и города разноцветные. Одно слово, художница... Ты вот чего, – склонилась, на ухо шепчет. – Слушай-ка меня. Мало ли, увезут тебя... В жизни-то разное бывает. Случается, увозят детей. Запрут, и нас не допустить могут. Одной тебе придется. Вот и знай: куда б ни замкнули – я с тобой. Всякий день за оградой. Так и буду ходить, пока Господь жизни даст.

Может, и не видно меня, а ты все одно помни – там, мол, моя бабушка. Взад-вперед ходит. Сядет, передохнет – и опять идет. Поняла?

Картина седьмая «Матпомощь»
Ленинград, апрель, 1962

Зоя Ивановна: - Здравствуйте, Евдокия Тимофеевна. Давно хотела встретиться с вами, поговорить.

Евдокия: - О чем же со мной разговаривать, с неграмотной-то старухой? Вон хозяйство у вас огромное – поди, успевай!

Зоя Ивановна: – Ну и что, неграмотная? В прежние времена грамоте не больно учили. Только мудрость не одними книжками дается.

Евдокия: - Мне бы деньги получить, аванс за Антонину... Пенсия у меня маленькая, а ребенку то одно, то другое.

Зоя Ивановна: - Вы за аванс не тревожьтесь. Бухгалтерия не выпишет, так из месткомовских оформлю. Проведем как материальную помощь. Тут одно только... Операции эти не больно приветствуют... Да я уж, – потолкую с женщинами, объясню. А как Антонина себя чувствует? Долго у нее чего-то. Не было б осложнения... А Николай навещает?

Евдокия: - Нет..

Зоя Ивановна: - От, мужики! Напакостить – это они первые, а как отвечать – их и нету. Мы с Николаем отдельно разговаривали. Правда, не знали еще... А знали б, и вовсе не цацкались. Куда б он делся, паразит! А теперь мы вот как думаем: пусть промеж себя разберутся. Если примет решение, зачем нам коллективом вмешиваться... А ломаться вздумает, тут мы ему и пропишем. Все-е припомним...

Евдокия: - Разговор у меня к вам, Зоя Ивановна.

Зоя Ивановна: - Про девочку, что ли? Так я и сама об этом хотела. Только с Антониной разве договоришься? Седьмой год ребенку, а все дома сидит. Детки в ее возрасте и песни поют, и сказки рассказывают. Младший мой, и пяти ему нету, а все про дедушку Ленина помнит. Рассказы им читают: и про героев, и про войну. А ваша – что? Потом-то уже и не восполнишь. Детская память цепкая. Что отложится, то уж на всю жизнь.

Евдокия: - Да мы тоже ведь не сидим сложа руки. Книжки ей читаем. Сказки.

Зоя Ивановна: – Ну, одно дело – самим. А там методисты. Их ведь специально обучают. Семь лет-то эти самые решающие. Что заложим, то и будет. А при заводе у нас и садик имеется, и лагерь...

Евдокия: - И лагерь, значит? Правда ваша, Зоя Ивановна. Где уж нам уму-разуму выучить... Поговорю с Антониной, только пусть уж поправится сперва. Женщина она рассудительная: к хорошему всегда прислушивается. К доброму делу чего ж не склониться?..»

Зоя Ивановна: - Пойдемте в бухгалтерию – с деньгами все оформим. Главное-то – решили. Ну, где ее справка?

Евдокия: - Да дома оставила. Не сообразила как-то.

Зоя Ивановна: – Тогда другой раз выпишем. Без справки – никак. А сейчас из месткомовских выделю. К завтрашнему дню и оформлю.

Картинка восьмая «Соломон»

Ленинград, апрель, 1962

Евдокия: – Плохо мне с утра. И кошки под утро снились.

Гликерия: – Черные, что ли?

Евдокия: – Всякие. Сижу будто. А вокруг – клубки. Вот кошки с ними и резвятся, катают в когтях. Встать бы, думаю, шугануть шваброй, а сил и нету... Клубки-то эти и раньше снились. А кошки – впервой... Видно, плохо ее дело. В таком-то возрасте *процессы*, ох, шибко идут... Как мы одни – с ребенком?

Ариадна: – Случись что, нам ведь ее не оставят. В детдом заберут. Мы ж ей – никто.

Гликерия: – Как это – никто?.. С какого растили... Неужто в приюте лучше?

Евдокия: – Сколько случаев: родным бабкам не оставляли, а тут – нам... Ох, дура я беспросветная... Своим умом не дошла, а вон оно – горе. К дому подходит – в ворота стучится. Одна надежда на Захарыча. Он надежда и спасение. Больше рассчитывать не на кого.

Гликерия: - Свят, свят, свят... Слова-то твои богохульные. Спасение-то от Бога.

Евдокия: Только Бог-то от жизни нашей отступился. Разве допустил бы этакое? Уж я всю жизнь на коленях: и что, отмолила кого?.. Ладно – мы проклятые. А Софью не дам. Вон им, нако-ся, выкуси, – аспидам.

Гликерия: – Мы против них – козявки. Не заметят, как раздавят...

Евдокия: – А я за жизнь ихнюю не держусь. Пожила-повидала, слава Богу. Есть чего на том свете рассказать. И в аду такого не выдумать, чего на земле сподобили. Так что нечем меня стращать – пуганая. Всю жизнь продрожала – хоть напоследок разогнусь...

Ариадна: – А Софьюшка, где?

Евдокия: – У себя сидит. Снежинки из бумаги режет. Гликерия научила, так теперь не оторвешь. Сколько бумаги извела. Красивые у ней получаются, кружевные. Всю землю, говорю ей, засыпешь. И зимы не надо. Вон, говорю, весна уж на дворе. Какой теперь снег?

Соломон: - Плохо дело. Запущенный процесс. Ученик мой в больнице работает. Он операцию делал. Что могли, сказал, вырезали. Но печень затронута. В общем – дело времени. Приготовиться надо. Боли начнутся, я договорюсь, найдем медсестру. Не из поликлиники. Только платить ей придется.

Евдокия: - А из поликлиники если, то бесплатно?

Соломон: - Из поликлиники бесплатно. Только лекарство могут не выписать. То есть выпишут, но не полный курс. А ей каждый день понадобится, а потом и по два раза...

Гликерия: - Неужели опия жалеют? Таким-то больным...

Ариадна: - Вот. Камни хорошие, чистые. На свадьбу мне подарены – отец сам выбирал. На старые деньги, может быть, и две тысячи... Старинные. Гордился: царский подарок. Все в войну обменяли. Только они и остались. Может, предложите кому-нибудь? Нас-то, ежили что, обманут.

Соломон: - Попытаюсь.

Ариадна : - А с девочкой как? Родных-то у нее никого. Только мы вот, трое.

Соломон: - С опекой дело безнадежное. Ученик мой бывший с делами с этими связан. Без отца ничего не сделать. Так и сказал: безнадежно. Либо

бабке родной, либо отчиму. Да и тут свои сложности: заявление, характеристика с места работы...

Евдокия: - Отнять задумают – им бумаги не указ.

Соломон: - А муж ее где? Отец ребенка. Пусть бы взял на себя, хотя бы формально. Ну, по документам. А так жила бы с вами. С него алименты только.

Евдокия: – Нету алиментов. Без отца растим.

Соломон: - Плохо. Значит, потеря кормильца. Мало того что в детдом отправят, и комнату отберут. Несовершеннолетним комнат не полагается. Комиссию соберут – решать.

Евдокия: - Если по закону, тогда все – конец.

Гликерия: - Ты уж, Соломон Захарыч, помоги – не брось.

Соломон: – Да чем же я могу... Пока работал, связи хоть какие-то были: у меня ведь *жены* наблюдались, а на учеников мало надежды. Сколько лет прошло, а до сих пор снится. Жена покойная не снится, а тут... Глаза закрою, снова собрание перед глазами: лес рук. И голоса... Речи их обвинительные слышу.

Гликерия: – Большинство-то, небось, по принуждению. Время нехорошее было.

Соломон: - А что толку? Да я ведь, в сущности, понимаю. И тогда понимал. А сам стою и думаю: это ж мои ученики... Неужели так никто и не встанет? Да не *против*, конечно, а хотя бы *воздержался* ... Так и не встал ни один...

Ариадна: - Николая-то чем женсоветские пугали?

Евдокия: - Не женится – никогда комнату не получит. Они ведь что думают: от ребенка она избавилась. А про болезнь и не знают.

Ариадна: - Значит, выхода у него другого нету, если хочет комнату получить. Одна ему дорога – на Антонине жениться. А как женится...

Евдокия: - А упрется? Не знаю, мол, откуда ребенок...

Гликерия: - Да он как глянет на нее – догадается. Она ведь какая стала... Краше в гроб кладут.

Ариадна: - Так пусть себе и догадывается. Ему же и лучше. – Умрет – целиком комната достанется.

Евдокия: - Да, умная ты. Видать не зря в гимназиях училась.

Ариадна: - Обманывать придется... Грех на душу берем.

Евдокия: – А нам выбирать не из чего. Какое чудо дадено – на том и спасибо. Почитай, соломинка протянутая. Наше дело – хвататься. Лишь бы вышло у нас. Хоть эту спасти... А грех – пусть на меня ляжет. Так и так душа погублена. Детьми моими.

Картинка десятая «Николай»
Ленинград, май, 1962

Николай: - Зойка, сучка драная, пристала: сходи да сходи. Послать бы куда подальше, думаю, к богу в рай... А потом и соображаю: Зоя-то возле начальства крутится. Мирным путем надо. «Ладно, – вежливо говорю, – схожу». – «А пойдешь, – как банный лист липнет, – так не с пустыми руками. Гостинец хоть купи. Двадцать рублей заодно доставишь, материальную помощь. Да, смотри не пропей. ». Да я ж непьющий, говорю. Только по праздникам. В цех вернулся, а самому тошно. Как вспомню ее, как в ногах у меня ползала, прямо хоть в петлю. Что ж я, думаю, сделал с нею, до чего довел?.. Может, и не бегала она. Бабы и сами ушлые, дознались. И гостинец еще этот... Вот чего нести? Мужу так взял бы бутылку, а бабе? Сладкого взять, что ли, пирожных каких-нибудь... Болванку тащу и думаю: не было ж у нас. Куда ж это я влип, соображаю? Не-ет... Идти мне надо. Разбираться. Пусть сама объяснит. Посидел, а сам-то и думаю: и чего она мне объяснит? На хахалю своего укажет? Так ей, небось, невыгодно. На меня спихнуть намерилась. Тут и Зоя за нее горой – повесят на шею... А потом думаю: кого вешать-то? Избавилась же она... Посидел-посидел. В мозгах и просветлело. Это же она специально подстроила, чтоб на себе женить. Первый раз не вышло – теперь поумнела. Дескать, вот оно – доказательство. А я-то, дурак: болезнь, говорю, придумай. А ей и думать не надо – давно придумано. Ну ничего! Кулаком погрозил. Попомнят они меня... И Антонина, и мамаша ее. Старухи, небось, и надоумили. Ох, попомнят!..

Николай: - Я это...помощь вам принес. Зоя Ивановна прислала. Мне б с Антониной повидаться... Как там? Поправляется она?

Евдокия: - Нет. Помирает. Жить ей осталось с полгода. А, может и того меньше. Только она не знает. Надеется ещё.

Николай: - Да не убивайтесь, Евдокия Тимофеевна. Поболит и выздоровеет. Люди-то болеют.

Евдокия: - Люди болеют. А рак – не болезнь, а смерть. Ребенок сиротой останется. Так что жениться ты должен, чтобы ребенка спасти.

Николай: - Как это – ребенок? Неужто не избавилась? Ребенок этот не мой. Я бы, если что, не отрекся. Вы к подлинному отцу обратитесь. Пусть он и женится.

Евдокия: – Умер отец. Не призовешь с того света. Так что тебе придется – иного выхода нет. А ты не шибко сокрушайся. Документы оформишь, а ребенка мы сами обиходим. При нас будет жить. А тебя в комнату их пропишут. Помрет, один поселишься. По-другому-то, никак.

Николай: - Так, подумать бы надо... Не решать с кондачка...

Евдокия: - Думай. Мы-то помрем, деньги тебе достанутся. Не теперь. После нашей смерти...

Картинка одиннадцатая «Про бесов»
Ленинград, май, 1962

Ариадна: - Люблю у печки. Отец меня все ругал. Бесов, говорил, тешишь. Один раз видала, вот, как тебя сейчас. Из гимназии прихожу, а у брата гости. Он в университете тогда учился. К себе к комнату прошла, а стенка тонкая... Его комната с моей рядом. Слышу: смеются!.. А тут дворник наш, Архип. Печи у нас топил. Дрова подкладывает – тоже прислушивается. «Ишь, смеются баричи... Смешно им...» Ушел. Дверцу распахнула – греюсь...

Смотрю, язычок огненный. Хрустнуло, как будто уголек выскочил. Он . Сам маленький, юркий. Ручки сморщенные – ладошки себе потирает... И страшно мне вроде, и любопытство берет. У ног моих крутится. Сам смеется, головку назад откидывает..

Евдокия: - А потом-то?

Ариадна: - Потом? Ничего. Исчез.

Евдокия: – Привиделось, может? Так Богородицу б почитала.

Ариадна: – А мы в те времена не веровали. Я стихи любила, а брат философией увлекался. Книги всё носил – прятал от отца. На германскую уходил – и то в сумку сунул. «Мало ли, – говорит, – затишье выдастся – почитаю...» Добровольцем ушел. Георгия заслужил солдатского. Отец им гордился. В отпуск приехал – рассказывает: «Живу не в казарме, но все равно любят меня солдаты. И я к ним – с душой». Мы обедали как раз. Отец салфетку кинул. «Дурак! – кричит. – Заучились в своих университетах. Нашли себе забаву – мужика! Мужик твой и себя за копейку продаст, а уж тебя – ни за понюшку! А брат спорит: «Вы не правы, папаша. Мужик в Бога верует. А нравственность у него детская, природная – с ним добром надо». А отец поглядел и отвечает: «Я в университеты не хаживал и книжек ваших не читывал. Только сам из мужиков. Родитель мой в крепости состоял – я ж его и выкупил. И тебя, дурака, выкупил – в пятом-то году». На демонстрацию он вышел. Со студентами. Отец в участок ходил – говорил с приставом. Чай пить сели, а отец снова: «Знаю я твоих мужиков. Повидал на своем веку, и вот чего скажу: жиды-то хоть за деньги Бога продали, а наш мужик, если доведется, так – за шиш. Из куража одного или по пьяни. И хвастаться еще будет, как ловко-то... А все потому, что не верует, а боится. И страх свой за веру принимает. Вот и бьются страх с куражом. Кто кого одолеет, то и будет. Пока что, – говорит, – держит страх. А страх уйдет – все и рухнет. Да как еще посыпется: только успевай!» А брат ему: «Страх, папаша, унижает человека. А мужик – тоже человек. Это, – говорит, – закон логики...» Отец блюдце отставил. «Эх, – вздыхает, – плохо же вам придется. У мужика одна правда: отцы-деды делали, и мы будем делать. А деды-то, может, разбойники с большой дороги... Души губили невинные... Вот, – палец воздел, – в Писании-то сказано: отрицают слово Божие ради преданий старцев. Это, – говорит, – про них». Расправились с братом-то. В семнадцатом. Волнение было в казармах. Офицеры у себя отсиживались – боялись выйти. А он: «Пойду, – говорит, – побеседую с солдатиками. Я для них не чужой». На бочку влез. «Братцы! Братцы!» – кричит. А они его за ноги... Нам ведь не сразу сообщили, потом. Отец как узнал, всю ночь не присел, так по комнате и ходил. «Говорил ему, говорил дураку», – бормочет. А наутро слег: ноги отказали. «Не чую, – говорит, – ног»...

Гликерия: - Новое платье приказала. Не поедет в юбке. Еще туфли тряпочкой протереть...Как смерть бледная. Краше в гроб кладут. Будто мертвую ее обряжаю. Не могу. Ты уж сходи, Ариадна...

Картинка двенадцатая «Сон Антонины»
Ленинград, май, 1962

Ручеек мелкий. Бежит, играет, только вода больно мутная. По мосточкам сошла: ничего, думаю, напьюсь. Только нагнулась, глядь, глазам своим не верю. Дно-то колечками усыпано. Изумилась, зачерпнула горсть. Сейчас, радуюсь, выберу драгоценное, золотое... Ладонь раскрыла, а они как порскнут. Прыгают, прыгают – будто лягушки. Голову подняла: гора высокая. А на горе башня. До самого неба дотянулась. И радио, слышу, играет – громко, по всей земле. Так это ж Москва, догадываюсь... И радостно мне стало. В Москве-то доктор живет. Сюзанночку от немоты излечит. Только найти его надо – поспрашивать людей. Мосточки сухие, гладкие. Иду, по сторонам оглядываюсь. Вижу, женщина приятная. На Зою Ивановну похожая. Так и так, советуюсь. Вот она меня выслушала и говорит: а где же ваш ребеночек? Так дома, отвечаю, осталась. Она ведь в садик не ходит, все с бабушками сидит. Это я, говорю, поехала – выходить замуж. А женщина эта обрадовалась. Что ж вы, говорит, сразу не признались? Растерялась я, отвечаю. И жених мой запаздывает – видно, заблудился. Тут она засмеялась: не может быть! Одна к нам дорога: не собьешься. Вон, указывает, ворота. Через них и въезжают. Пригляделась: и вправду ворота, только стеклянные какие-то и без створок. А зачем нам, спрашивает, створки? Ворота наши особые. Сами собой отворяются. Для тех, которые верят. Сердце-то как стукнет: он, Григорий. Идет, за перильца держится. Глаза черные, веселые. Совсем как живой. Приблизился. Я, говорит, подарок тебе принес. Ладонь раскрыл, а там тряпочка. Вот он ее разворачивает, а в ней палец мой отрезанный, а на нем золотое кольцо... В книжке расписалась. Шатнуло меня. Не помню, как и в машине оказалась. Ну все, думаю. Слава тебе, Господи... Сейчас и башня покажется... Там моя жизнь начнется, там и муж мой...только б деньги отдать за телевизор-то...Сто рублей отдала, двести пятьдесят осталось. А телевизор Сюзанночке останется. Пускай владеет.

Картинка тринадцатая: «Свадьба»
Ленинград, май, 1962

Ариадна: - Взял. Все до копеечки. Пересчитал даже.

Евдокия: - И что? Сошлось у него? Ладно, после об этом. Когда бумаги?

Соломон: - Обещали недели через две.

Евдокия: - Скорей бы... Вон чего делается. Фордыбачит. Не ровен час, выкинет фортель...

Соломон: - Ну, выпил человек лишнего. Тоже переживает... Надо бы с переездом его поторопить.

Евдокия: - Поторопим, теперь уж поторопим. Комнату ему освободили. Пусть живет...

Гликерия: - Прибор бы убрать пустой. Нехорошо как-то.

Евдокия: - Вы закусывайте, Николай Никифорович. Вот селедочка еще.

Николай: - Да не опасайтесь, Евдокия Тимофеевна. Чего обещал, все выполню. Не откажусь. Я человек честный. И слову своему хозяин. Где на ребенка бумаги? Давайте, несите – все враз подпишу.

Евдокия: - Полно вам. Свадьба сегодня. Угощайтесь.

Николай: - Сва-адьба. Может, и свадьба... А блингов часом не напекли?

Гликерия: – Да какие ж блинки, картошечка. В подушках у нас завернутая, чтобы не остыла. Принести, может?

Николай: – Так теперь-то, чего уж... Несите. За невесту с женихом выпили. За вас теперь полагается... Пусть ваша жизнь будет богатая да счастливая. Вот, значит, за это. Музыку бы хоть какую. Жалко, музыки нету. С ней бы повеселее. Я разве думал, что жизнь-то обернется... Вы ведь как, небось? За комнату, мол, согласился... А нету этого. Чего она мне, комната?... Так, по человечеству пожалел.

Гликерия: – Да кто ж вас винит...

Николай: - А может, и за комнату... Разве разберешь...

Соломон: - Пожалуй, пойду я потихоньку.

Николай: - Ишь...пойду.... вот ты ведь не уважа-аешь меня... Про себя-то как думаешь: скрутили, мол, дурака, загнали в угол. А я – не-ет. Я ведь сам все решил. Самостоятельно. Потому что по правде это. По человеческому закону. И никто мне тут не указ.

Соломон: - Перестаньте. Никто вас ни в чем не обвиняет.

Николай: - Ишь ты! А за что ж меня обвинять? Разве я какой обвиняемый? Нету моей вины...

Гликерия: - Кому картошечки? Остынет.

Николай: - Вот ты жизнь вроде прожил. И умный мужик, еврей... Да не обижайся. Я ж не в обиду про это – так, уважительно. Но за правду. Вон предки твои Христа, Бога нашего, распяли. А Бог – ничего. Простил...

Соломон: – Неужели? Откуда ж у вас такие сведения?

Николай: - А как же? Ум вам оставил – оставил. Хитрость еще. Вместе, друг за дружку держитесь. У одного беда – все на помощь бегут. Не то что, – фыркает, – мы...

Соломон: - Удивляюсь я вам. Вы же молодой человек еще, а речи, вы уж простите меня, средневековые. Как будто и в школе не учились...

Николай: – Школа-то ни при чем. В школе одному учат, а жизнь по-другому окорачивает...

Гликерия: - Чайку-то... У нас пирожок еще – с капустой.

Соломон: - В школе правильно учат. Все нации равны.

Николай: – Как же! Вот ты, если б выбирать, небось, тоже русским бы родился... А и правильно. Несладко вам, евреям.

Евдокия: - Русским зато ох как сладко... Прямо рот не успеваешь отереть – от сладости этой.

Николай: - Русские в войне зато победили».

Евдокия: – Да-а... Только-то и радости одной.

Николай: - А я вот все равно на вас удивляюсь. Умные-то вы умные... И за советскую власть – горой. А не любят вас. А нас по всему миру любят – уважают. В телевизоре-то... Хоть куда приедем... Хоть вон в Америку. Встречают...

Евдокия: - А это они издалека любят. Вот бы тут пожил – среди нас.

Николай: – А вот и нет. Европу ихнюю мы освободили. Без нас-то что – так бы и жили под немцем. Темно тут... Занавески б, что ли, раскрыли.

Гликерия: – Да какие занавески. Это она снежинками своими заклеила. Украсила к свадьбе.

Николай: - Украсила... Ну чего ж, пу-усть... Ребенок. Разве чего понимает...

Соломон: - Вас послушать, как будто русские одни воевали.

Николай: - Ну, конечно, не одни. И другие многие. Только русские-то – главные. Товарищ Сталин как про это говорил... А ты объясни вот мне. Вот, говорю, евреи. Умные-то вы умные – а на смерть шли как овцы. Сколько ваших погибло? А я отвечу. Мил-ли-он. А почему? А потому, что это супротив нас вы умные. А против немцев – пшик! Против немцев-то мы одни в силе. Вон оно как. Немцы народ основательный. Отец воевал – рассказывал. Вот бы пример с кого взять... Все у них по уму.

Соломон: - Пойду я...

Николай: - Ты чего? Никак обиделся, Захарыч? А не на-адо на правду. На правду грех обижаться. Вот скажи мне про русских, всю правду скажи. Ни в жизнь не обижусь. Ну? Ну?

Соломон: - Не знаю я всей вашей правды.

Николай: - Вот то-то. И никто ее не знает. Даже вы – евреи. Потому что русские – сами по себе. Особые. Таких-то нету больше, хоть по всей земле пройди.

Соломон: - Я одно вам скажу. Христос ваш воскрес, а жена моя не воскреснет...

Николай: – Вот-вот, а была бы русская – в рай бы попала. Христос для русских приготовил.

Ариадна: - Вы бы картошечки поели... Чем рассуждать...

Соломон: – Отчего же. Может быть, Николай Никифорович и прав. Христианство – религия милосердная. Был бы русским, мог бы надеяться. А так...

Евдокия: - Шарфик-то у вас, гляжу внатруску...

Гликерия: - А я к осени тебе новый свяжу.

Соломон: - До осени ещё дожить надо. Николай молодой, рано или поздно женится. Человек он неплохой, но слабый. Раньше говорили: без внутреннего стержня. Что жена скажет, то и сделает. Николай вам не помощник. На себя рассчитывайте.

Евдокия: - Ничего, у нас свой расчет. Бог даст, продержимся.

Соломон: - Девочка рисует хорошо. Ей учиться надо. Кружок есть художественный. Во Дворце пионеров. На Фонтанке. Возле Аничкова Моста. Отсюда далековато, конечно...

Гликерия: - Ничего. Втроем управимся. Мы по очереди...

Картинка четырнадцатая. «Похороны Антонины»
Ленинград, зима, 1963

Сюзанна: - Мое первое воспоминание: снег... Ворота, тощая белая лошадь. Мы с бабушками бредем за телегой, а лошадь большая, только почему-то грязная. А еще оглобли – длинные, волокутся по снегу. В телеге что-то темное. Бабушки говорят: гроб. Это слово я знаю, но все равно удивляюсь, ведь гроб должен быть стеклянный. Тогда бы все увидели, что мама спит, но скоро проснется. Я это знаю, только не могу рассказать...

Гликерия: - Как расплчется душа, как растужится. Перед Спасовым стоит перед образом. Как же трудно ей, душе, с белым телом расставаться – в даль небесную уходить, да за три горы. А за первой-то горой там смола кипит – смола черная да липучая. Али хочешь ты, душа, во смоле сидеть? Она плачется, отбивается.

Ариадна: -Как услышал Господь, сам расплакался. Посылает навстречу двоих ангелов. Вот идут они дорогой небесною – повстречали ее, взяли под руки. Что ж ты, спрашивают, душа, мимо раю прошла? Мимо раю прошла – не заглядывала... Опечалилась она, клонит голову. Обращает речь к божьим ангелам.

Евдокия: - Я б и рада к вам в кипарисный рай. Да грехи мои нераскаянные. Чем я, грешная, оправдаюсь? Окаянная, чем порадуюсь? Отвечают ей божьи ангелы. Ты не плачь, душа, оботри слезу. Кабы нам судьба на земле прожить, уж и мы б, небось, грех извели...

Эпилог

Санкт-Петербург, зима, 2000

Сюзанна. Когда падает снег, я всегда вспоминаю бабушек. Мои бабушки ничем не болели, просто ушли в один год. Сначала Гликерия, потом – Ариадна. А бабушка Евдокия дожила до осени – я уже училась в Мухинском на первом курсе. Семье отчима дали двухкомнатную квартиру. Бабушка Евдокия радовалась, что всех перехитрила и теперь я имею право переехать к Зинаиде, ведь я там прописана: квартиру дали на троих. Мне не хотелось ее расстраивать. Я-то знала, что Зинаида меня не пустит. Она и раньше заявляла: всякую приبلуду селить – никаких метров не хватит. Когда все умерли, ко мне пришли из жэка и объявили, что на нашу квартиру выдан ордер и я обязана выехать по месту прописки: в течение трех дней. Если бы не училище, я, вообще, осталась бы на улице. У меня была ленинградская прописка, но мне все-таки предоставили общежитие. А потом я встретила Гришу. Сначала мы снимали комнату, а потом он уехал в Америку. Гриша звал меня с собой, а я отказалась, потому что подумала о бабушках. И о маме. Я уеду, а они останутся. Как бы они остались без меня? Теперь я понимаю, что Гриша был прав. Сейчас бы я с ним поехала, но об этом говорить уже поздно. Иногда я стелю камчатую скатерть с розами и представляю, как мы все садимся вокруг стола – и отец, и мама, и бабушки. Это для них я купила такую большую квартиру. Чтобы у них был дом, в котором больше не страшно, потому что это наши комнаты и их никто у нас не отнимет....